

# ПИТАТЬСЯ ОДНОЙ ПЕТРУШКОЙ



МАРГАРИТА ШИЛНИНА  
Родилась в 2003 году  
в городе Абанане. Студентка  
Литературного института  
имени Горького (семинар  
прозы Р.Т. Ниреева), участник  
литературной мастерской  
«Мир литературы. Новое  
поколение» по направлению  
«Проза» (семинар В.Г. Попова  
и Н.А. Грозной).

Илья сидел за кухонным столом и лениво водил ложкой по тарелке. Белесые сгустки манной каши то разлеплялись, то соединялись вновь. Брови мальчика были нахмурены, между ними пролегли морщинки. Отложив ложку в сторону и поставив тарелку на полку накрененного холодильника, он засмотрелся на три небольших отверстия в стене.

Они, расположенные в виде перевернутого треугольника, напомнили ему собачью морду. Через несколько секунд собака сменилась козой, и Илья узнал, что ее зовут не Машка и не Майка, а Серафима и что ее хозяйка – это приехавшая из Москвы учительница русского языка и литературы Альбина Сергеевна. Утомившись от столицы, которая казалась ей вечно неизвестно куда струящейся рекой, Альбина переехала к сестре и стала постепенно свыкаться с деревенской жизнью. Поначалу она считала подъемы с петухами и ковыряние в земле дикостью, но уже через несколько недель научилась вставать раньше петухов и ухаживать за гортензиями так, что соседки прозвали ее ведьмой. Альбина не скучала ни по метро, ни по высоткам, но учеников ей не хватало. Это вынуждало ее рассказывать бездумно слонявшимся по улочкам детям о разнице между адресатом и адресантом. Иногда они прислушивались, а иногда пропускали все мимо ушей, отвлекаясь на пестрых бабочек и копошащихся

в земле муравьев. Когда внимание рассеивалось, Альбина Сергеевна выдергивала из земли травинку, совала ее в муравейник, какое-то время ждала, вынимала и предлагала попробовать появившуюся на ней жидкость. Эти и другие умения, вроде создания свистка из пикульки, впечатляли, и дети были готовы не только слушать про масло масляное, но и приводить свои примеры: громкий гром, дождливый дождь, игрушечная игрушка.

Стук кровати о стену отвлек Илью от истории об Альбине Сергеевне, ее учениках и Серафиме. Он отвел глаза от дырок-треугольника и направился в свою комнату. Проходя по коридору, он взглянул на закрытую дверь, из которой доносился стук. В полупрозрачном стекле отражались два размазанных силуэта. Илья потупил взгляд и опустил голову, взгляд упал на продырявленный в нескольких местах носок.

Он постоял, встрепенулся и снова пошел. Дверь со скрипом отворилась, и стук притих. Послышался голос мамы и какого-то мужчины, после чего в квартире воцарилась тишина. Илья не понимал природу шумов, время от времени наполнявших квартиру, но они ему не нравились. Не нравилось ему и то, что приходилось улыбаться каждому встречному, который переступал порог, не нравились их потные ладони и странные взгляды. Они смотрели на маму то так, будто хотели обнять,

то так, будто смеялись над ней, то по-другому... «Другие» взгляды он понимал меньше всего, единственное, что мог сказать, – они были долгими. Однажды он взялся за мамину руку и попросил ее поиграть с ним в железную дорогу. В ответ на эту просьбу стоящий рядом мужчина отчеканил: «Она занята», а мама ласково погладила сына по плечу и сказала: «Давай попозже». После этого Илья ни о чем не просил, он или молча бродил по квартире, или уходил в парк.

Приходя туда, он присаживался на поросшую травой землю, открывал книгу и читал. Погружаясь в истории, он закусывал губу и время от времени вздыхал. Вздыхал не потому, что пытался вникнуть в особенно сложные места, и не потому, что автор давил на него описанием фабричных механизмов, а просто, просто так. Вздохи помогали справляться с накопившимся.

Иногда Илья понимал, что не понимает. Ему приходилось возвращаться на несколько строк, а то и на несколько страниц, чтобы восстановить очередность событий. Такое происходило в основном с интересными текстами, где один образ тянул за собой десятки. Илья пугался неожиданных шорохов и хрустов и, чтобы отойти, какое-то время сидел неподвижно, прислушивался.

Сидя с книгой в руках, он создавал шедевры и сжигал их, влюблялся в загадочных красавиц, сражался на дуэлях, умирал и упивался победами, безвылазно сидел в четырех стенах, терял близких и их же спасал. Осенними вечерами ветер играл с его волосами, сдувал их на глаза и мешал сосредотачиваться. Илья боролся с погодой горячим чаем. Настоящие ценители искусства, как и настоящие беглецы из дома, не сдаются холодам! Илья сдавался: просиживал на скамейке около часа и возвращался домой. Обычно этого времени хватало, чтобы посторонние ушли. Мама после встреч вела себя по-разному: или потерянно курила на балконе, или становилась требовательной и заставляла его драить квартиру, или, наоборот, улыбалась и много разговаривала. Хорошее настроение посещало ее нечасто, но если посещало, Илья начинал чувствовать себя точно так же. Они разговаривали о трехголовых змеях и о полулюдях-полубыках, Илья говорил, что хочет сочинять сказки, в которых принцессы спасают сами себя, а мама вздыхала и отвечала, что все не так просто. Иногда ему казалось, что она его или не слышит, или не любит. Воздушные змеи, догонялки и прятки заканчивались так же неожиданно, как и начинались. Мама уходила

в себя, и он снова и снова оказывался наедине с пластиковыми динозаврами. Его любимая игрушка, набитый плюшем черный кокер-спаниель, хотя и старалась, не могла заменить Илье людей. Он тосковал по живому общению.

С ребятами со двора Илья ладил, а они с ним – нет. Они просили его сходить за водой, подстегивали воровать малину и обчищать клумбы. Илья знал, что поступает нехорошо, но ему так хотелось, чтобы его принимали, что он был готов срывать не только малину, но и черную смородину.

В этот раз над ним не просто посмеялись, его подставили. Он должен был перебраться через забор, залезть на дерево и наполнить желтое ведерко спелыми, темно-красными вишнями. Первая часть плана удалась, но, как только его пальцы коснулись сдвоенной тонкой веточки, из обветшалого домика вышел старик. Поджидające Илью закричали «Воры, воры, караул!», а сам он вцепился в ствол. Хозяин заругался, Илья зажмурился, в ушах загревели выстрелы. Пятнистая рука схватилась за голень, он закричал.

Потребовалось немало времени, чтобы Илья успокоился и отцепил онемевшие пальцы от вишни. Как только он опустился на землю, старик представился Тимофеем Михайловичем Лаевским. Они потолковали о жизни и сошлись на любви к бабочкам. Илью впечатлили кустистые брови Тимофея Михайловича, его журчащий голос и рыжий кот по кличке Василий. Он не отходил от мальчика все то время, пока тот сидел на деревянной ступеньке и водил по ней ладонью. Илье поначалу было неприятно гладить полуоблезшую макушку кота, но вскоре он привык. Василий громко мурчал, это забавляло, Илья специально отводил руку в сторону, чтобы кот заискивающе тыкался в нее влажным носом. Перед расставанием Тимофей Михайлович отдал ему два ведерка с ягодами.

Дома маму Илья не застал. Обычно его это расстраивало, но впечатление от сегодняшнего знакомства защитило его от тоски. Первым делом он перемыл вишню и, пока мыл, решил прервать какие бы то ни было связи с дворовыми. Мысль о них заставила его сжать одну из ягод – красные капли разлетелись по стенкам раковины, брызнули на темную плитку над ней.

Отпечаток на маминой щеке был почти что такого же цвета. Она скрывала его: сидела, облокотившись на кулак и нарочно развернувшись в профиль. – Мам, тебя ударил кто-то?

Взгляд был пристальным, женщина впервые разглядела в нем мужчину. Слишком рано, пожа-

луй. Как провинившийся подросток, мама слонялась из угла в угол.

- Ударилась просто, не переживай.
- Мне не нравится, когда к нам кто-то приходит. – Илья перекачивал краешек футболки между пальцами. Раньше они это не обсуждали.
- Мне тоже, но нам нужно что-то есть.
- Можем что-то посадить.
- И питаться одной петрушкой?
- И никто тебя не ударит.

Она промолчала, лишь сжала зубы, челюсть дрогнула. Илья постарался сменить тему и рассказать маме о Тимофее Михайловиче, но она ушла, а он до ночи рисовал на клетчатых тетрадных листах котов.

Полузаросшая дача Лаевского стала его убежищем. Пение птиц сменилось скрипом половиц, запах растений в саду – запахом замешиваемого теста. Тимофей Михайлович всю жизнь проработал в пекарне и не мыслил себя без выпечки: пирожки, бублики и баранки выходили у него исключительные. Илья любил слушать повторяющиеся из раза в раз истории и разделял сетования Тимофея Михайловича о нынешнем поколении.

У старика была удивительная способность вызывать интерес. Даже если он просил помочь покрасить забор, это превращалось в приключение. Однажды Тимофей Михайлович предложил Илье покрасить яйца, приближалась Пасха. Дома этот праздник не отмечали, и он охотно согласился. На столе стояли несколько лотков с белыми и оранжево-коричневыми яйцами разных размеров. Тимофей Михайлович сказал, что они попробуют раскрасить их несколькими способами.

Сперва решили пойти по традиционному пути: набрали в первые попавшиеся емкости воды и высыпали в них пищевые красители. Стаканчик, предназначенный для смачивания кистей, окрасился в красный, а срезанная наполовину пластиковая бутылка – в зеленый. Погрузили яйца в воду, Тимофей Михайлович аккуратно положил яйцо в ложку и опустил его в обрезанную бутылку. Там яйцо пролежало несколько минут, а потом его вынули. Скорлупа покраснела. Илья сделал то же самое, и ему почему-то стало радостно. Захотелось обвить шею Тимофея Михайловича руками и долго-долго не отпускать, но он обошелся тем, что сощурился и хихикнул.

Второй способ – салфетки. Тимофей обмакнул их в краску, разорвал на несколько лоскутков и приклеил к белой скорлупе яичным желтком.

- Так можно рисовать узоры.

Илья попытался изобразить елочки. Они получились похожими на пятна, но ничего, он мог что-нибудь дорисовать, чтобы всем стало понятнее. Хотя... Кому «всем»? Кого они с Тимофеем Михайловичем собрались угощать? Три лотка яиц на двоих – много, биться с дворовыми – нет, пусть бьются сами, оставалась мама. Илья сомневался, что ее можно приводить в свое укрытие. Илья отдышал в этом полуразвалившемся доме, где можно было ходить с перепачканным малиной ртом и гладить за обедом кота. Мама бы ничего на это не сказала, но могла взглянуть так, что он почувствовал бы себя виноватым.

Она умела выражать презрение почти незаметно, и Илья боялся, что Тимофей Михайлович обидится, а он этого не заметит. Мама, например, отступит в сторону, если рядом пробежит Василий или если Тимофей Михайлович откусит кусочек от пирога, а потом поднесет ко рту салфетку и выплюнет. Он переживал, что Тимофей Михайлович поддержит молчанку, а потом, после маминого ухода, расстроится. Ладно разозлится, а если отсыдет, отвернется и начнет доедать пирог? Тесто будет полусырым, но он продолжит есть через силу, из принципа.

Илья спросил, можно ли ему забрать оставшиеся яйца. Мама плохо себя чувствует, поэтому не сможет составить им компанию.

- А папа, братики, сестрички?

Илья помотал головой, Тимофей Михайлович прокашлялся. Помолчали. Старик поставил на стол корзину со множеством бумажных полосок, и напряжение исчезло. Илья, беспрестанно кивая и повторяя «ага, да, понял», принялся за третий способ. Наклеить бумажку на скорлупу, смазать желтком и опустить в краску.

Приготовления закончились к вечеру. Тимофей Михайлович убрал несколько яиц в холодильник, несколько – в целлофановый пакет и, завязав его, протянул Илье. Они попрощались. На душе было тепло, Илья чувствовал, что сделал что-то хорошее.

Ему хотелось растянуть день, поэтому он выбрал более длинную дорогу. Пушистые побеги мятлика шекотали. Обычно он срывал их и, проводя пальцами от стебля до венчика, играл в «Петуха или курицу», но сегодня настроение было созерцательным. Мимо пробежала собака с репьем на холке, проехали два велосипедиста. Наезжая на камни, колеса поскрипывали, Илья в первый раз услышал этот звук. Солнце опускалось за горизонт, листья на деревьях золотились и шелесте-

ли. Шелест напомнил ему сонаты Рахманинова. Он мало разбирался в классической музыке, но разобрататься хотел!

Они жили в нескольких кварталах от музыкальной школы, и Илья нередко приходил к ней, чтобы послушать мелодии, льющиеся из окон. Временами музыка успокаивала, а временами кричала: инструменты плакали, казалось, струны не перебирают, а рвут. Илья говорил себе, что ошибки – это нормально и естественно, но уходил все-таки раньше. Записаться бы на класс фортепиано! Черно-белая клавишная дорожка, молоточки, педали, весь этот спектр звуков... Бывало, он садился за стол и стучал по нему, воображая себя величайшим музыкантом двадцать первого века. Однажды за этим его застал очередной мамин знакомый, Илья смутился и перестал репетировать. Занятия перенеслись в воображение. Перед сном он различал отрывки слышанных произведений и нечто новое. Может, это талант заявлял о себе? Илья боялся рассказывать об этом маме, она могла усомниться или, что еще хуже, напомнить, что у них нет денег. В одиннадцать посвящать себя музыке поздно, но...

Золотые отсветы на листьях блекли, солнце исчезло. В небе горели лишь несколько лучей, но и те постепенно меркли. Илья ускорил шаг, ему не то чтобы запрещали поздно возвращаться, но позднее возвращение влекло за собой разговоры, а ему не хотелось говорить ни про салфетки, ни про собаку с репьем. Через несколько минут волнение усилилось, Илья побежал. Его хватило до перекрестка, дыхание закончилось, пришлось идти пешком. Он добрался до подъезда, взбежал по лестнице на шестой этаж и постучался. Ему не открыли ни через пять, ни через десять минут. Он пошарил по карманам: ключи были забыты на комодике Тимофея Михайловича.

Илья стучал громче, дольше, но замок не поворачивался. Он присел на корточки, было прохладно, стянул ветровку и подложил ее под себя. Опершись головой о кожаную обивку двери, Илья прикрыл глаза. Мама, наверное, отправляла кому-то посылку, наверное, задержалась на почте. С ней не случилось ничего плохого, конечно, нет. В мире есть бог, Тимофей Михайлович рассказывал, он милосерден, а значит, мама придет. У Илья защипало в глазах, но плакать было нельзя, это не по-взрослому. Чтобы поддержать самого себя, он вспомнил про Альбину Сергеевну. Что же с ней случилось? К ней приехал внук.

Они не виделись целую вечность, он учился на биолога в Москве и в свои единственные вы-

ходные приехал к бабушке. Без предупреждения. Она поливала помидоры, отвлеклась на собачий лай и увидела Костю. Не того худошавого пацана, каким он был несколько лет назад, а широкого в плечах, выросшего сантиметров на десять мужчину. Они негромко, растерянно поздоровались. Неделя, которую Костя гостил у нее, напоминала дни у Тимофея Михайловича: подъемы в двенадцать, разговоры о несерьезном, сбор малины и огурцы на завтрак, обед и ужин.

Костя целыми днями пропадал в университете, участвовал в научных конференциях, общался с передовыми учеными, но «жизнью» мог назвать жизнь здесь. Он был не готов оставаться в деревне насовсем, но размеренный быт шивал разорванный покой воедино. Набитая конфетами берестяная коробка возвращала в детство, Костя вновь верил в Деда Мороза и дружбу длиной в жизнь.

У Илья не было ни бабушки, зато был Тимофей Михайлович и Василий. Да, Василий, пирожки, бублики, коровы, комары, клавиши, биолог, Дед Мороз, Москва, воздушные змеи... Илья успокоился и уснул. Сновидения, в которых ягнята водили хороводы, звезды загорались и тухли, кто-то куда-то падал, ловил рыбу, сеял пшеницу и ел хлеб, в этот раз его не посетили. Проснулся он от того, что его трясли. Перед ним стояла мама, ее щеки горели, а глаза блестели, она прижималась к нему и шептала: «Мне жаль, мне очень жаль, прости, как я могла? Прости меня, пожалуйста, прости». Илья тоже захотел извиниться, сказать, что ему стыдно, что он забыл ключи, но не сумел, в горле скатался комок. Он обнял ее за шею, воротник пальто охлаждал щеку. Мама была такой же замерзшей, как и он.

Они долго не разрывали объятий, а когда наконец разорвали, мама отперла квартиру, и залпанные белесыми пятнами зеркала и окна показались Илье такими родными, что он их чуть не расцеловал. Домашнюю одежду – шортики, майку и порванные носки – нельзя было назвать удобной, но мама подарила их на двадцать третье февраля, а значит, они тоже имели ценность. Вскипел чайник, мама разлила по кружкам чай, добавила мед и несколько долек лимона, потом достала из морозилки торт и поставила его на стол, чтобы оттаивал. Она чувствовала себя виноватой, Илья видел, потому с напускным оживлением начал:

– А у меня тут с собой яйца в пакете. Хочешь? С солью самое то.

Мама его будто не слышала, замерев с кружкой у рта, она смотрела в одну точку. Со стенами он разговаривал, что ли?

– Яйца? – Она дернулась и вернулась к диалогу. – Да, здорово, замечательно... Съедем, можем даже пожарить.

– Они вареные, мам.

– А, да? Ну тогда да, с солью или в салат, надо только огурцы взять. Я завтра схожу, на ужин сделаю. Кстати, а откуда они?

– Да так... Знакомый один отдал.

Кружка опустилась на стол, женщина взяла ладонь сына в свою, сухую и бледную. Илья развернул голову вбок, ее взгляд его смутил.

– Если своровал, так и скажи, врать не надо. Мы честные люди, а честные люди говорят правду.

– Да правда это, правда. – Илья вырвал руку.

Он не привык к физическим проявлениям любви, поэтому остро на них реагировал. Тем более что сейчас она выражала не любовь, а недоверие. Чай загорчил, стал маслянистым и терпким. Грудь сдавило, захотелось обидеться, но Илья не смог, она ведь старалась. Чего только стоил этот подтекающий кремный торт... Они хранили его в морозилке несколько недель, берегли до лучших времен. Что если мама не слышала его, потому что тоже сочиняла сказки?

Илья погладил по колену.

– Извини, у меня плохое настроение, я... Мне было страшно.

– Я никогда, никогда бы тебя не оставила. Слышишь? Никогда.

На маминой щеке желтело чуть заметное пятно, некогда оно было багрово-красным. Илья осторожно дотронулся до него и вздохнул. Он мог отказаться от карьеры музыканта, не написать ни одной книги, лишь бы никто не причинял ей боли – ни другие, ни он... Ни она.



# МУСОРОВОЗЫ

Руднеев оглядел комнату. Он не мог назвать ее уютной, не мог сказать, что ему было нетрудно сидеть за приставленным вплоты к кровати столом и что его не смущало соседство тарелок с книгами. Общежитие накладывало отпечаток на психику своих жильцов: они учились засыпать под хруст чипсов, ходить в душ после того, как в нем побывали четверо незнакомцев, и питаться гречкой на протяжении недели, а то и двух. Если оставить в лесу двух студентов, с наибольшей вероятностью выживет тот, кто делит личное пространство с тремя соседями, пятью куртками, шестью парами обуви, скисшим творожком и заплесневелым хлебом.

Руднеев дружил с Женей Тарасенковой. Она много читала и заморачивалась над расстановкой запятых в сообщениях, словом, училась на филолога. Ее волосы пахли геранью, а к платьям, рубашкам и костюмам не прилипало и ниточки. Они разговаривали о моде, искусстве и политике, Женя время от времени отпускала едкие шуточки, и Руднеев восхищался каждым особо и не особо метким сравнением, и все же, как бы гладко все ни шло, он чувствовал, что Женя ограничена. Ей никогда не приходилось перетаскивать свои вещи из одной комнаты в другую, она в принципе не собирала их подчистую, так, чтобы все в чемоданах и рюкзаках. Она не таскала части разобранных

кроватей на пятый этаж, потому что «девочкам тяжело, помогите». Руднеев вырос благодаря общежитию номер четыре, оно воспитало в нем выдержку, коммуникабельность, ответственность, выдержку, выдержку, выдержку... Благодаря Мише, Косте и Сереже он познал людскую природу.

Миша говорил: «Ну что, пора в ванную» – и шел в нее спустя полтора часа. Он мог поставить перед собой корзину с грязным бельем и дойти до стиральной машины лишь под вечер. Еще Миша много ругался, часто повышал голос, встречался с тремя девчонками одновременно, бросал их и никогда не заморачивался, мол, три месяца – не срок. Потом они, эти трехмесячные, замыкались, бледнели, переставали отвечать на парах и начинали считать себя недостойными любви. Кто-то через недельку-другую ударялся в саморазвитие, а кто-то даже спустя полгода-год смотрелся в зеркало с отвращением. Миша никогда не заморачивался, но не мог спать, если ссорился с младшим братом. Младший брат, двенадцатилетний Данилка, был Мишиным слабым местом, он видел в нем себя и делал все, чтобы этот другой «я» не сбивался с пути истинного. Сам он сбивался и неоднократно, скорее, время от времени, находился. Тем не менее вся группа, а то и весь курс благоговел перед ним. Его слушали, за ним шли, о нем разговаривали – он исполнял обязан-

ности идола, а по возвращении в комнату превращался в зашуганного мальчишку. Таким же мальчишкой был Данилка, поэтому Миша его и любил, одного-единственного, но как крепко! Такими же мальчишками были Костя, Сережа и Руднеев, потому он и не притворялся: притворяться было не перед кем.

Сережа страдал за все человечество. Он приходил к выдающимся, нетривиальным идеям, но как он к ним приходил... Чувствовал себя бесталанным, ненужным и нелюбимым, человеком без будущего, настоящего и прошлого. Когда подавленное состояние подавлялось, он начинал без умолку разговаривать. Говорил о происхождении земляники, о британских колонистах, о марксизме, Дягилеве и Толстом, припоминал Товстоногова и Кнебель, рассуждал над эффектом тамагочи и пытался разобраться, почему многие вместо того, чтобы искать ответы внутри себя, ищут их в совпадениях. Почему человек решает, что нашел свою судьбу, лишь когда они с кем-то, не сговариваясь, надевают голубые носки? Понятие судьбы расплывчато и неконкретно, зато оно как помогает в неудачах! Об этом и многом, многом другом рассказывал соседям Сережа. Он вырос в провинции, и не просто «в», но и «из», сибирский городок исчерпал себя еще в Серезины четырнадцать. С четырнадцати и до восемнадцати он жил в мегаполисе: заходя на рынок, где металлический запах свиных туш смешивался с цветочным ароматом горчичного меда, Сережа представлял, что он в крупнейшем торговом центре Европы. Он жил в «однушке» со своей бабушкой, Екатериной Анатольевной. Она только и делала, что готовила, вытирала пыль, мыла полы и меняла внуку обувные стельки. С девятого класса все обязанности легли на Серезу, Екатерина Анатольевна сорвала спину и наполнила свои дни телевизором, бульварными романами и вязанием. Дни наполнились и стали капать, переливаться через край, превращаться в ночи. Бабушка смотрела телевизор с той же неустанностью, с которой до этого лепила сочни. Сережа был самым приспособленным из комнаты сто двенадцать. Он ни с кем не встречался, страдал от неразделенной любви, но не рассказывал, к кому именно, и постоянно слушал музыку. Скрипичные концерты мешались с современными исполнителями – странное и до странного органичное сочетание. Сережа походил на свой плейлист: не от мира сего, но миру сему необходимый, ранимый, но не ломающийся. Руднеев его любил, Мише с Костей он тоже нра-

вился. Все они были братьями, за четыре-то года как не стать?

Что-то меняется, а что-то остается неизменным – Косте до сих пор нравился туалетный юмор. Он старался это скрывать – смеяться про себя, но однажды не выдержал, и все всё поняли. Он был ребенком, а вернее художником. Блок писал: «Художник – это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но в этом взгляде светится сознание взрослого человека», и Костя эти словам соответствовал.

После приступа деятельности, за время которого он успел написать эссе, вымыть пол и дорисовать иллюстрацию, которую не мог закончить месяц, за ним закрепилось прозвище Треплева. Работа в экстремальных условиях – это если не новые формы, то путь к ним. Костя рос в нормальной семье, где отец не бросал мать, мать не уходила налево, а сестра не сбегала из дома и никто никого не любил. Отец работал в редакции и ею же жил: оставался дома на выходных и все читал и вычитывал, читал и вычитывал. Мама говорила, что в юности он мечтал стать драматургом, много писал, подавался на конкурсы, знакомился со студентами-режиссерами и проталкивал им свои пьесы и сценарии. К нему должен был вот-вот прийти успех, но неожиданно слег отец, неожиданно уволили мать. Молодому, жадному до искусства, ему пришлось смирить амбиции и заняться зарабатыванием денег. Его как будто дернули в детство: снова ничего не умеешь, снова всему учишься, снова от кого-то зависишь. Мама говорила, что он помрачнел, перестал ходить в музеи и галереи, обрубил все предыдущие контакты и заперся в офисе. Он вернулся к тому, что лечило его душу, но встал по другую сторону – занялся не творчеством, а критикой. Как родители не разошлись, как мама не стала для него напоминанием о несложившемся, Костя не понимал. Они не интересовали друг друга: не делились впечатлениями и переживаниями, по большей части молчали или разговаривали о детях. Сестра училась на международника и занималась собой, поэтому времени на других у нее не оставалось. В свои двадцать три она ни разу не влюблялась, не уходила в запой, не оставалась на ночевку у подруги, зато успела окончить школу экстерном и опубликоваться в нескольких научных журналах. Костя же не оправдывал надежд: он, как флюгер, крутился то в одном направлении, то в другом, не искал своего предназначения и жил по наитию, так, словно никто от него ничего не

требовал. В сто двенадцатой он громче всех смеялся и тяжелее всех вздыхал.

Руднеев дотронулся до Сережиного принтера. На нем остался отпечаток с кольцеобразными линиями, на подушечке пальца – серый осадок. Сколько раз он спасал их от разгневанных преподавателей? Сто двенадцатая комната – скин-те-денег-на-бумагу, сто двенадцатая комната – вот-и-все-расходимся. Полки, прибитые над кроватью, Сережи, пустовали, книги убрали в салатовый чемодан. Мишин стол, снизу доверху заставленный пластиковыми коробочками, кремами для рук, мазями, лосьонами и упаковками из-под чипсов, пустовал. Костины колонки, из которых то и дело кто-то рычал или завывал, молчали. Руднеева никто не просил выключить свет, потому что «поздно, ну блин, а мне к первой, чё я выплусь за четыре часа, по-твоему?» Над ним не шутили: «Вить, расскажи, что в душе целый час можно делать?», а он не защищался: «Очередь там была, ну очередь, харош».

Миша гостил у родителей своей девушки, Светы, а Руднеев не понимал, зачем он туда поехал, все равно же разойдутся через месяц-другой. Хотя о Свете Миша рассказывал, а такое случалось редко, обычно он и до имен не опускался – неоднозначно отвечал на вопросы, мотал головой, да так, кое с кем, да так, с одной девчонкой. Они со Светой собирались съезжаться, снимать квартиру на «Достоевской», но продолжительность их отношений ставилась под вопрос. Если Миша откроется ей, а она его примет, то выгорит, если он откроется, а она отвернется, то сломается. И ее сломает. Любящие люди целуют друг друга в желтеющие синяки и ссадины с отходящей кожей, гладят по шрамам, собирают слезы с ресниц и не устают обсуждать одно и то же, запоминают, что на левой руке под локтем – родинка, а рядом с ней красноватое пятнышко. Ты это красную кляксу терпеть не можешь, замазываешь тональником, прячешь под длинными рукавами, а потом приходит она, касается этой отметины губами, и на следующий день ты надеваешь футболку, а не водолазку-рубашку-толстовку. Миша загорался и тух и не то что не умел целовать в раны, он и находить-то их не хотел.

Последние три дня Сережа с утра до ночи пропадавал в филармонии. Ему предложили написать сюжет об одном из симфонических оркестров столицы, и он не просто согласился, а вцепился в это предложение. В университете ему нечасто выпадал шанс писать о чем-то интересном,

а здесь к его интересу прибавили заработок. Он выгладил все свои брюки и рубашки, этот некогда не беспокоящийся о внешнем виде Сережа навел справки о дирижере и исполнителях и на протяжении недели слушал композитора, которого предстояло исполнять. Сережа возвращался в комнату поздно, уставший, но одухотворенный, обещал обо всем рассказать, но засыпал, как только ложился. Его не волновало то, что волновало Руднеева, он был занят и потому не ощущал их разъединения. Оттого, что Сережа постоянно чем-то занимался, его оставляли экзистенциальные вопросы. Он выпустится и победит в себе страдальца, превратит его в трудоголика, приглянется арфистке и не умрет девственником. Руднеев хотел в это верить.

Костя был единственным, кто остался в комнате. Он сидел на кровати с закинутыми ногами. Белые носки из двух разных пар: один длиннее, другой короче. Рядом с Костей лежали упаковка парафиновых свеч, гель для душа и питьевой йогурт. Йогуртом Костя собирался поддерживать дух, собирался пить его, чтобы сборы не утомляли. Выпил, конечно, как только вытащил сумку из-под кровати.

– Вить, я знаешь чё прочитал? Про альтернативные вселенные, короч. Книжка там про летчика и поиски женщины чё-то, местами цепляет, местами думаеть: «Мдэ-э-эм, чел, и как тебя опубликовали?» Но в общем, он там с разными версиями себя разговаривает. Прикинь, как круто: ты из будущего говоришь чё-нить себе сейчас? Ответы по экономике типо или у кого писать курсач. Удобно, пипец.

Руднеев некоторое время молчал, потом, не выдержав пытливого взгляда, все-таки ответил:

– А смысл?

– Смысл чё? Ну это ж здорово, посылать там импульсы себе из прошлого, говорить, мол, держись, пацан, всем ты еще станешь. Космонавтом, правда, вряд ли, но остальным – да. Не слушай Марию Валерьевну, Леху-лоха, папу тоже поменьше, получится у тебя все.

– Смысл что-то знать, если мы и так все узнаем? Если узнаем и изменим, то и будущее изменится, а если не изменим, смысл знать?

Руднеев был не в настроении, поэтому отвечал сухо и так, будто Костя спрашивал его про «жи-ши». А он и не спрашивал, впечатлениями просто делился! В комнате воцарилось молчание, но не тишина: дребезжал холодильник, гудел процессор, за окном проезжал мусоровоз. Мусорово-



зы, они одни из самых громких машин. Громче них, пожалуй, только «Лады», которые проносятся на красный с опущенными окнами. Руднеев всегда думал, что в столице таких не водится, но...

Миша ругался, если под окнами проезжал какой-то такой уникум, а Руднеев молчал. Что бы он ни говорил, всё всё равно останется прежним. Зачем вообще о чем-то говорить?

- Нет, слушай, вот ты как хочешь, а я б на себя лет в сорок посмотрел. Кем я стану – главой какого-нибудь издательства, счастливым отцом троих детей, путешественником или, не знаю, врачом?
- Кость, каким врачом? На врачей же с пеленок учатся.
- Ну так а я, предположим, сломаю позвоночник, перестану ходить, а потом раз – и встану, просто так. Конечно, после этого я посвящу себя нетрадиционной медицине и за тридцать лет, может быть, добьюсь всемирной известности. Кто знает, кто знает?

Они заканчивали университет и разъезжались – это они знали, что станет с ним через год, два, пять, десять – этого они не знали. Им вновь предстояло шагать в неизвестность, опять. Руднеев не верил в альтернативные вселенные, но если бы допустил мысль об их существовании, мог бы узнать, что Миша разошелся со Светой и от своей новой любви заразился тем, о чем не принято говорить, выяснил бы это много, много позже и понял, что распространял не знания, как мечтал, а нечто другое. Он хотел спасти людей, возвращать их к жизни, дарить им эмоции, а вышло, что по его вине люди гибли. Миша стал бы аскетом, вылечился, женился бы на Лизе, девушке с таким же темным прошлым, они завели собаку и дочку Зою. Миша бы вылечился, но ничего бы не сказал ни одной из своих бывших подруг. Об их судьбах альтернативные вселенные молчали.

Сережиной статьей заинтересовался один крупный журнал, его взяли в штат, он писал о театре, кино, музыке и литературе, писал, писал и писал, а все внерабочее время топил в алкоголе. Он влюбился в первую скрипку, забыв о всех своих прежних увлечениях, эта первая скрипка не заметила студента с журфака, но заметила молодого журналиста, метящего на пост младшего редактора. Она позволила ему находиться рядом с собой, уступила этой чуть ли не собачьей преданности и отдалась на неофициальном продолжении одного официального мероприятия. Сережа чуть не умер, а на следующий день его чуть

не уволили – первая скрипка оказалась замужем за сыном директора филармонии. Сережа плакал и писал, плакал и писал, решал, что не будет заводить отношений, убеждал себя в том, что все прошло, дорвался до главного редактора, а потом встретил на улице сына директора филармонии и подрался.

Костя пытался помочь соседу, к тому моменту он превратился из чекающего пацана в нечекающего на людях и чекающего среди своих продюсера. Из сто двенадцатой у него одного все складывалось гладкого. Возможно, это было связано с его непосредственным нравом, а возможно, с тем, что он верил в альтернативные Вселенные. Держись, пацан, всем ты еще станешь. Костя жил в центре Москвы, зарабатывал круглые суммы, имел выход на самых перспективных режиссеров и самых привлекательных актрис, но любил Ленку, преподавательницу русского, жертвовал деньги фондам и занимался продвижением когда-то написанных отцом сценариев. Костя мог бы поднять культуру на новый уровень, но умер в тридцать три.

Их пригласили на его похороны, это был их первый и последний сбор. Косвенно полным составом. Они перекинулись парой фраз, но в подробностях никто никому ничего не рассказывал, близости не возникло. Бывшими братьями не бывают, но, наверное, они придумали, что были ими, раз внутри ничего не колыхалось и не тянуло. Говорить о Косте тоже ни один не рискнул. Что бы они сказали: «Мы скидывались, чтобы пойти в рестик и помечать, что однажды сможем сидеть там, не скидываясь»? Сказали бы: «Помню, на меня упал таракан, Костя его убил, пальцами прямо, пальца-ми! Представляете»? Сказали бы: «Вот же человек! Помню, мама приезжала из Томска, так он предложил подселить ее к нам в общежитие, чтобы не в отель, и мы и с вахтерами договорились, и с соседями». Сказали бы: «Я скучаю», «Мне жаль, что я ему не звонил», но они молчали. Холодильник не дребезжал, процессор не гудел, за окном не проезжали мусоровозы. Мусоровозы, они одни из самых громких машин.

